



ЗАВТРАК АРИСТОКРАТА

Повесть

1. ПСИХОЛОГИЯ ОТРАВЛЕНИЯ

Полшестого. У нас — в мире законченных аутсайдеров — все спокойно. Еще спокойно.

Справа от меня лежит и булькает эта... мой плен и свобода. Та, с которой живу уже десять лет и никак не могу поверить, что десять лет назад я был настолько глуп... Хотя, уже пора привыкнуть, и я привык.

Привык к тому, что ближе к полуночи, нажравшись от пуза, чего попало, валюсь к ней под растекающиеся по всем нарам белые бугры. До зубовного скрежета мне всегда мало того, что она оставляет мне для жизни: мало сорока сантиметров, еще не занятых ею на двуспальных нарах, мало кислорода, который, кажется, весь к утру истребляет она одна (не воздух — гольный азот!). Нет и свободы передвижения — до абсурда: на работу — она со своей печкой справа, с работы — слева. Всегда хочется сказать ей какую-нибудь шикарную пошлость. Нет, правда, иногда я бываю ну просто принужден забраться на нее с тем, чтобы вымолить еще тридцать сантиметров пространства нар. Отрабатываю... И о работе. Да, работаю хорошо, потому что те звуки, которые сопровождают мой трудоподвиг, делают серо-зеленый взгляд больших глаз приемной дочери эдаким... сумасшедшеньким, похотливым, что ли... Не просто работа, — видимо, я вершу еще нечто сверх.

В общем, я старше этой лошади на десять лет, она младше меня на десять — целая пропасть. Все сложно, а уж это убийственное постоянство и однообразие...

Вот сейчас навалюсь, исполню обязательное утреннее интермеццо и, оставив необъятные распаренные пять с половиной пудов на влажной постели, отправлюсь к завтраку — взлетевший, как орел, расправивший крылья, все выше и выше.

Сазан будет, как всегда...

Да, перед тем надену этот дурацкий халат из велюровых знамен, что остались от парторга и партии. Там сзади герб, а впереди серп с молотом на самом... месте. Ольгины выходки. Все испоганит, кочерга закопченная.

Вчерашний, как всегда, неважно прожаренный сазан будет с запекшейся скрученной чешуей у головы. Нет, я, конечно, человек дюжинный, претензии-то минимальные, но ведь все должно быть. Пусть, конечно, она уже и не пахнет соблазном и медом, от меня и от самого дух тяжелый, но вот так утром жрать холодную, как смерть, вчераш-

нюю утку да еще с пентюхами, больными и протезированными зубами рвать эту говядину... Это говядина, а не... Господи, чего жрем-с?! Утром как-то нужно зарядиться на день, как-то быть в порядке. Какие задачи решаем!.. С утра до ночи: "Пал Алексеич, Пал Алексеич..."

Павел Алексеевич к шести сделали все как обычно. Подумал: чего бы кинуть к утке, сазану, говядине... Выловил в кастрюле недоваренное мясо будущего обеда, поперчил, присодил и — туда же, в топку. Выловил еще кусочек, ткнул в укропную нарезку и дослал. Последний заряд, вместо пыжа, подпер добрым помидором — "нехай брюхо лопнет". Закончил. Хотелось, конечно, и луковку разлупить да бросить сверху, да, может, бутербродик с маслом и слабосоленной икоркой шучьей, но — нельзя, нельзя. И мятушейся душе надобно бороться с обстоятельствами. Пусть этот акт воздержания пойдет в зачет, в стену строительства характера, а может, и новой жизни.

Груженной баржей выплыла из спальни Ольга. В любимых одеждах.

— Палуш, ты бы ушицы похлебал, че ли?..

— Нет, мать, это черт те что. С утра лицезреть твои кустодиевские ляжки и эти... кранцы. Люди как-то рубаху с утра надевают!

— А чего надевать — все одно снимать. Может, за добавкой пришла.

— Распутство засасывает.

— Обнаженная грудь — еще не распутство. Распушенность там, где застегнуты на все медные.

— Да, пристегни кранец к кранцу, ляжку к ляжке...

— Баклажанчики там, Палуш, тушеные... праймэри импотенс. Бьюсь-бьюсь...

— Да не нужна мне твоя жратва, господи! Людями надо быть!..

Но все же похлебал ушицы. Негоже начинать день с размолвки дома. Так это и покатится наперекосяк. Потом — за налимьей головой уже — застал звонок в дверь, а еще вопль:

— Ляксеич! Ссильничает Рыжий Маринку, ой ссильничает! Ой, спортили девку, обезобразили, осоромили — куды теперя перецца с таким репутацием, куды бечь?!

Покуда добежали до места преступления — там все завершилось. Маринка, как всегда скривившись на мамашу, фыркнула:

— Не бесились бы вы, мамо, свои дела сама решаю.

Рыжий, сойдя с лестницы, с достоинством космонавта, исполнившего долг на орбите, в стоптанных тапках прошлепал мимо свидетелей и сочувствующих. Показал мамаше штуку из трех пальцев и проговорил:

— Маринка — челаэк заинтересованный. А тебе, кочережка позорная, скажу: за эту твою вонючую барду из патоки, от нее в брюхе тоска, доиться больше не стану. Пусть и не ходит твоя Маринка.

Мамаша метнулась к Марине — уговаривать писать заявку и колоть, колоть мужика до пбследнего.

— Да не в моем вкусе, мамо, рыжие.

Марина поставила точку.

Ну вот и начался день. Пал Алексеич отправился в сельский Совет на работу.

Аристократы умирают рано утром, когда истомившееся тело и голова, истерзанная мыслью о долге, высоком назначении и, может быть, судьбинном разочаровании, останавливают сердце...

Полвосьмого. Поэтому дюжинный во всем, кроме своих претензий, Павел Алексеевич по прозвищу "Аристократ", занимает свое кресло, двигает по столу бумаги, меняя стопки местами. Он готов.

Сегодня последний день. Последний день Аристократа. Таких кресел, как мое, в России сто тысяч, — говорит Павел. — Вы понимаете — не о раритете сказ. Впрочем, не могу сказать и следующего: мол, возьми его и тысячу единиц нерешенки впридачу (да убереги тебя Созидатель!). Не жаль кресла, жаль ту самую нерешенку, без меня закиснет. Отчаянно смело? Если хотите. Держит нечто.

Кресло хорошее, удобное, глубокое, наконец... просто надеюсь, что меня понимают.

Вот вам и пример, нагляднее не бывает. Уже за двадцать секунд до появления вон той образины крупно (время перехода от калитки до моего кабинета), могу доложить, выдержав авторский слог; что Оно прохрюкает. Оно скажет:

— Павлик, позвони им, иначе не знаю, что сделаю этим стервам... Пять ящиков осталось, а мужики дупляцца, как кобели. Скока можна, ну скока можна?!

Оно уходит, а я звоню в продмаг, чтобы горемычного включили в список на пойло — пять ящиков осталось, — уже не замечая, что и сам в слове "ящиков" ударяю на последнем слоге. Меня уже давно не пугает его отталкивающий видок — законченного подлеца, с обвислыми оттопыренными губами... Тем более сегодня — последний день.

Вон прется Евтихьевна, будет испрошать, как все же Рыжего женить на Маринке: "Може, есть який варьянт..." — "Да нету, баба Ева, это делается раньше на небесах, а уж потом в Совете". — "Ниде правды не найдешь... Обжулять, как хочут, позасели тут..." — "Позасели... Слава богу — последний день"...

А может, все будет, как у поэта: "Из иллюзий выйду, словно из воды, оставляя на песке следы?"

Нет, долгой разбежке мысли не быть: вон чешет Жмурик.

— Паха, че учудили?

— В смысле?

— А чего это меня в психбольницу?

— Да ты самогончик жрешь, как бык помои, дома выкобениваешься. У меня вон и заява есть, и

протокольчиков набралось как раз на курс с сульфазинном.

— А че меня-то? Как че — так Жмурик. Заберите вон Гриху... Я и в хоре пою, и в волейбол играю, а он чего... только водку. Я ж понимаю — разнарядка, никуда не денется. Пусть Гриха, а я потом...

Ну, Жмурик, ладно, демоническая натура. Разве что припугнуть чуть... так... паллиативное решеньице... А вон идет образина!..

Угрюмое, более чем заурядное лицо, нет, рыло человека, явно засидевшегося на свободе. Оно входит в помещение Совета, трется о дерматин двери и орет, после ноты "ля":

— Можешь, конечно, и не давать, тогда я у китайца возьму за три хаты, вырву у детей кусок из горла, бля буду...

Отпишу пойло и этому, потому что, действительно, купит за три сотни у китайца, а так всего за сто восемьдесят, семье — экономия на три буханки хлеба. В общем, мирно сосуществуем. Я отдаю ему все, что просит, и еще — про запас, и с удовольствием наблюдаю, как удаляется это расхристанное чудо.

Есть другая причина, отчего не смею его судить строго. Говорят, было у него тяжелое детство... хотя росли, понятно, вместе, и тяжести этой я как-то не заметил.

Батя его великий был затейник, а еще ба-альшой любитель "самиздатовской" — из пшенички, свеколки или патоки. На том стоял. Импровизатор был с редким чувством юмора. Так, покупая весной в колхозе бычка за восемьдесят рублей, осенью умудрялся сдавать его, "откормленного", за семьдесят. Правду сказать, не сдавал, забирали, — как только голодная скотина поедала во дворе все, что мало-мальски съедобно, вплоть до дедовских еще, драных хомутов (внутри солома).

Сиживал он крепко и не однажды. Казалось, выходил лишь затем, чтобы подтвердить слова то ли девиза, то ли жизненного кредо... или любимой присказки: "Чем старше бык, тем тверже рог". К появлению очередного дитя его, как правило, уже не было.

В последний раз, изобретательная натура, сидел за то, что приделал валенки совхозному бычку и отправился в соседнее село торговать. Валенки была лишь пара... так и вычислили, хотя уряднику пришлось покумекать.

Но это была последняя ходка. Сынок, на правах старшего, съездил в северном направлении поглядеть на столбик с номером двести сорок один.

...А вот и "учитель". Единственный в городе прописанный рецидивист. Конечно, после кончины папаши только что удалившейся образины. Лучший среди равных. Пять ходок, а еще — пахан. Впрочем, свидетельство о высоком звании не прилагалось к документам. Сейчас чего-нибудь учудит. Уронит быстрюю и удивительно крупную слезу, чувствительная натура, станет бить поклоны, возможно целовать руки, припадать в экстазе на раненую ногу... Когда затем прощаемся, обычно шарю по карманам — все ли на месте.

Входит:

— Пал Алексеевич, дорогой, горе у меня, какое горе!.. Маменька моя Зинора померла... Нету надежухи моей, нету супружницы моей... Прости, отец наш, не сдержусь... но како горе!.. Не

сдержался. Однако надо справлять. Слышал, Алексеевич, там водочки привезли такой — подешевле. Как-тошь надобно материальну помочь да пару ящичков. Хватить, как думаешь, мэр наш дорогой?

Признаться, горло перехватило. Что тут скажешь?..

— Прости, дед, я как-то не слышал про бабушку. Вчера вроде еще шевелилась, или обознался...

— Так от ходорила-ходорила по дому да хозяйству, а потом враз...

Дед заливается горькой слезой, а мне становится по-крупному стыдно. Психолог вселенский, мэтр е...

Даю команду выписать материальную помощь, звоню в магазин, в гараж — на завтра нужна будет машина, похоронная команда, могила, носильщики, речь на пару—тройку минут. Прошу выписать все о жизненном пути бабушки — много, много лет в хозяйстве отработала, а теперь вот... отмучилась, значит.

Психолог...

Забегала завмаг — делить барахло из привоза. Однако настроение на нуле, отправил распределять самих. Обещали что-то оставить и крестьянам. “Лишь бы пену не взбивали”. Пены будет столько, что хватит укрыть зеркало океана.

Господи, вот так — век живи, век мучайся от собственной прогрессирующей дури. Благо, хоть завтра на похоронах будет уже кто-то другой, мне бы еще там выступить в роли попки.

Одиннадцать. Народный ход отвернул к магазину, водку разобрали и пьют себе по работам да по фазендам — как пять, пятнадцать, двадцать пять лет назад.

Да уж, господа психологи, так я, ведомый вашей светлой мыслью, сегодня объехал сам себя. Надобно полистать Ярошевского. Ага, вот про меня: “...о разрушительном влиянии редуционизма. Редуционизм — осознаваемая или не осознаваемая установка, направленная на сведение явлений одного порядка к явлениям качественно иного порядка...” И так далее — подколоть к обвинительному заключению.

За то и получу завтра по полной программе. Все говорит за то. Сначала — народ дюже злющий, — понятно, станем играть в метателей молний и громоотвод. Во-вторых... Последнее время действительно как-то распределял... тенденциозно, что ли... И вообще: сделай человеку сто раз добро, а сто первый не добавь — судить станет по последнему.

И все же, и все же... Будем сражаться. Как там учила в институте Лариса Ивановна Мельникова — о правилах выхода из конфликтной ситуации?

Первое. Не должно быть множества претензий, Две—три, не более.

Второе. Не должно быть категорической формы ведения разговора. Да, мол, есть два мнения — мое и неправильное.

Теперь пусть скажут! кого я поддушил за последние три года, кого унизил, давил? Ничуть не бывало.

Чем более неприятен человек, тем более будь с ним корректен.

Вот же пример: только-только ушли два убожества, каждого из которых я презираю больше, чем самого позорного голубого или там женонасильника, — отвратительнейшие ведь рыла, но ведь нет...

Другой бы, наверное, и говорить с ними не стал, я же выплясываю перед ними на все сто пять понимания и прочувствования ситуации.

Третье. В начале конфликта не прибегайте к помощи третьей стороны.

Да не прибегал я... я читал им бумаги, которые, бывало, по первости штудировал. Или просто уходил — берег и их, и себя.

Четвертое. “Обвиняемый” должен иметь возможность принять позитивное решение, он не должен терять своего лица.

Если кто и потерял свое лицо с дедом Пенковым — Зинориным чудом, так это я... Надо позвонить врачам: может, бабка лежала трое суток, покуда я тут заседал...

Звоню.

Звоню и узнаю, что бабушка Пенкова жива-здоровая, чего и всем желает. “Утречком забежала в амбулаторию прикинуть давлению. Все в норме. Да вот только что пролетела мимо окон — на огород, должно быть”.

А что тут скажешь? И кому? На это есть пятое:

Не оскорбляйте личного достоинства в любом конфликте. Что будем делать? А беречь достоинство, и хорошую сделаем мину при отвратительной игре. Неумехи мы, что ли, или штанишки свои переросли? Вон, Светоний еще во втором веке про нас глаголил: “Сенат давно уже разросся и превратился в безобразную беспорядочную толпу — в ней были и люди самые недостойные, принятые после смерти Цезаря по знакомству или за взятку, их в народе называли замогильными сенаторами”.

Замогильные сенаторы. Что-то в этом есть. Дети тех еще аристократов — замогильных сенаторов, уцененных аристократов. Да и тем даже мы равны разве по части пронциательности — от слова “проникать, пробираться”? Мы столь же живучи, вроде кольчатых червей, органы даже регенерируем — вместо четырехкамерного сердца стальное; а уж голова... Впрочем, — обрывки Ольгиной теории. Много чести. Как я ненавижу эти ее умненькие глазки. Пусть мы — нынешние, не дохнем от сердечных взрывов уже с ранья — в тридцать, живучи... требует эпоха.

Обед. Славное время. Утром я парил, словно орел, теперь, как коршун, долго — до момента, когда сок захлестнет горло и стану захлебываться, — выслеживающий добычу и, найдя, всецело устремлен к ней. Этот путь от письменного стола к кухонному я проделал бы в один прыжок, да не пускают пустяки вроде должностной степенности да барьеры по всей дистанции. Так что, будь ласка, поклонись каждому, ответь согласно памятке Ларисы Ивановны, даже если наградят эвфемизмом или сравнением.

Беру препятствия, словно на дистанции спринта на сто десять с барьерами по мастерам.

Почти не задержался у барьера даже тогда, когда встретились братаны Букреевы — рожи в крованом корже после вчерашнего. Довольно. Вчера я отдал им полтора часа. Заводные они, с буху включенные, с пол-оборота хлещут друг друга чем попало по самому рядовому пустячку, вроде:

— Знаешь, братуха, я решил брать мотоцикла.

— Бери одноцилиндрового, он будет надежнее.

— Не-а, возьму двухцилиндрового. Он мощнее.

Насажу баб — и на природу...

— А я говорю: бери одноцилиндрового.

— А я говорю...

— А я говорю: поставь на место моего двухцилиндрового, а то харю разлохмачу!

Этот разлохма-атит. И тот тоже.

Алкаш — жрец особой науки. В его среде грубо-математический дележ — это для начинающих, для племса, для тех, кому не суждено вырасти до миропонимания элиты. Алкаш же из категории плотницкой — надстройка пирамиды, где все остальные ниже и еще ниже.

Все психологические нюансы аккумулирует плотницкий распил... извиняюсь, разлив.

За пятьсот лет до рождения Христова царь государства Ахеменидов Ксеркс первый высек море прутьями, и в нем воцарилось спокойствие. Через две с половиной тысячи лет капитан запаса пятидесятилетний Воронин разлил не поровну, и жмурики — бригада строителей-шабашников — дерется три дня, то прерываясь на опохмелку, то возобновляя сражение. Три дня штормит разливанное водочное море, и три дня же валы его разбивают умиротворение компашки, которое и так восстанавливается лишь на время похода в сортир. То они громко хохочут на любую двусмысленность, то, изрядно пропарив носы самогонном, принимают биться с еще большим исступлением.

Вот и теперь, проходя мимо “замерзшего” объекта, вижу их в деле и спрашиваю:

— За что бьемся, мужики?

— За истину! А еще Жмурика провожаем в психбольницу.

Все правильно — нет гениальных вопросов, есть только гениальные ответы.

— Успехов вам, и готовьтесь следом...

Однако диалог не получается. Диалог — это когда на “да?” отвечают, как минимум, “вполне может быть”. Один Жмурик вскинулся: “Я-то не пьяный, они тут бузят... Я пьяный? Черта с два. Смотри! — зажигает спичку и, глубоко вдохнув, дует на нее. — Вишь — не горит?!”

Пытаюсь вести на экспертизу, уже поворачиваю в проулок к амбулатории, Жмурик следом. Дошел до лужи и остановился. Явно передумал. “Дальше не пойду, я в коцах. Угрохаю новые коцы. Если хочешь — неси меня”.

Я не хочу, хочу на обед.

Обед. Доедаю, что осталось от завтрака, и “слушаю молчание женушки”, молчит даже эта стрекотуха—дочь. Все-о понимаю, нам ведь уже девять.

Есть острое предчувствие скорого окончания этих семейных мордастей. Скорей бы уже. Конечно, привычка — вторая натура, такая натура хуже дырявой шкуры, нужно рвать. Бечь надобно. Я отдал им лучшее время единственной своей жизни, с постоянно гнущими меня внутренними стенаниями за судьбу, за многое свое через них нереализованное, за то, что не состоялся ни в чем. Стыдно вспоминать о выданных и не отработанных авансах, сколько слов было сказано, сколько словей?!

Пока обедал, у жмуриков случилось. Пора, пора везти мужика в больничку и садить на сульфазиную иглу, хоть недельку пусть попостится печенка его бедная.

На этот раз умудрились на грузовой машине захватить меж домом и забором — меж двух берез. Жмурик подобрал две рейки и взял “размер”, сло-

жив рейки одна на другую, — на ширину кузова, померял расстояние между березами. Потом упал, вымарал коцы, однако размер удержал... Промерил еще раз. Затем мерил капитан Воронин, после Гриша, прибегли и к помощи третьей стороны — все равно сошлись на том, что проехать никак нельзя. Но машина-то в тупике...

Бросаю рейки и этот “размер”, иду в Совет. Ничего не понимаю, впору самому лечиться.

Я искал человека, который бы меня все время по жизни, что называется, подстегивал. Мне казалось, что переизбыток желчи у Ольги — вот что раскачает мой мир. Однако что же сделалось с моей мечтой — я принужден заниматься этими бухарями. Я весь уже истлел вместе с ними, толкни хорошенько — и рассыплюсь, потому что это уже не я, это мой прах. Алчу критики — говорил себе и ей. Но вот ведь и с Критикой, с этой язвой, — все равно на дне. Ни тебе удачи, ни счастья в романтическом его варианте, вместо этого слобная женушка да еще приемная дочь. Более того. Того более: я выяснил — и это совершенно точно: запросто могу “замочить” человека. И что еще страшнее — не сожалея о том. То есть, конечно, пожалею, но... лишь оттого, что этим актом моего воображаемого зримого врага не заставлю мучиться в агонии так долго, как мне хотелось бы.

Если возьмусь убивать, то сделаю это талантливо — сдохнет немедленно. Он сдохнет немедленно... так стоит ли кашу заваривать?... Только это останавливает меня в движении к...

Бог ты мой, договорился! Нужно повернуть назад и дообедать. Ежели начинаешь бредить на базе психологического нигилизма, а проще говоря, сходить с ума — пообедай плотнее, и все пройдет. Это не Светоний, не Сократ или там Ярошевский — это я прочувствовал каждой клеточкой своей.

Павел Алексеевич добежал домой мигом, ворвался на кухню и...

Перебрал в корзине помидоры, отложил пяток побольше, порезал и, перемазав сметаной, запихал в место “где”. Мало. Выбрал розовых — в них железа больше, обмакнул в мед и — туда же. Вернулся к сазану еще раз, затем почистил зубы об утиные кости и еще икорки щучьей свежайшей откусал и с маслицем домашним, да сметанки — ложка в банке стоит, как солдат в карауле, или там... А потом еще... и еще...

Затем, помня святое со студенческой поры — полное брюхо к учению глухо, — упал на диван и прикрыл голову газетой. Приснул чуть, однако не надолго. В дверь постучали. Сначала посередине, потом сбоку, сверху.

Мильтон... урядник, кто еще такой шутник-с?

Отряхнул сон, как невеликую печаль. Отправились на аварию. Кто? Конечно, жмурики.

Высоченный мост через протоку, грузовая внизу. Жертв нет.

Спрашиваю Григория: “Как умудрился?” Дуется: то ли переживает, то ли злится. Ясно одно — “машина помирай”.

— Ехали вместе со Жмуриком...

— Ну?..

— Че ну?! Допек он меня. Жмурика не знаете?... Говорю ему: щас, падла, как е... с моста, сам подохну, но и тебя урюю!..

— И урыл?

— Урыл. Крутанул вправо, колесо зацепилось. Упали.

А Жмурик в эту минуту уже командует краном:

— Равновесие ищите, ищите равновесие!..

Григорий, наверное, на это деловое спокойствие друга и обиделся:

— Я, значит, беги за краном, а он командует тут... Домой уже слетал, наверное: и похмелился, и из штанов вытряхнул...

Подбежал Жмурик и спросил, как ни в чем не бывало:

— Гришуха, как ты мог, — считай, новая машина?!

— Дак я же из-за тебя, солобон! С тобой ехали...

— Как со мной? Я дома был, по хозяйству управлялся, прибежал на гудок. Ты меня в это дело не впутывай. Как ты мог, Гришуха, как ты мог?..

И тут же:

— Ничего, Гриха, председатель с участковым разберутся. У них яйца хоть и квадратные от сидячей работы, а все...

Последнее стоило Жмурику свободы. Через полтора часа областная психбольница приняла еще одного пациента. Сульфазиновая мечта обрела реальность. Еще находясь в бреду, Жмурик набросал в минуту просветления план, а едва очнувшись, изложил мысль на бумаге: письмо, которое закончил крылатой фразой всех живущих общаком: “Осознал все, забери, бригадир”.

А пока с участковым съездили к молодому пахану домой — на поклон.

Грязная, засиженная мухами летняя кухня. По ее периметру на лавках сидят: два десятка пар пацанячьих глаз испытующих, нагленьких, уверенных в безнаказанности, а в центре, напротив двери, — пахан, или “учитель”, Федя, уже упитый. Пьет, похоже, сам, не балует мелочь, разрешая, наверное, только травку.

Однако в таких случаях участковый говорит: “Нету закону”, — и мы землю пятками не роём, держимся. И, раскланявшись, просим вернуть рыбацкие сети — по заявлению пенсионера-рыбака.

— Чья работа?! — прохрюкал Федя так, что два пацана подскочили немедля.

Вопрос решен. Убираемся.

Следом, прихваченные в компанию областными крылатыми гонцами за собирателями трав, — а их тут отовсюду, от бухты Ольги до уральских хребтов, собирается, что блох у поганой твари, — летаем на автомобилях по зарослям. Кого-то хватаем, других травим собаками, и последнее наводит на ассоциации. Призванные решать дело быстро, бьют морды первым и вторым, уже покусанным собаками, каждая из которых похожа на доброго телка. Довольно жестко, но по жизни.

Зализывать свои раны иду в клуб.

Дед, работающий тут в шахматном кружке, — наверняка обрадованный моему первому за пару лет появлению здесь, — расставляет фигуры и зовет присесть. Не хочется, однако деда уважить надо.

— ...а знаете, Пал Алексеевич, мы с вами играем замечательный вариант, которому...

— Не знаю. Простите, в теории, как, впрочем, и в практике, не силен.

— Так вот. Лет семьдесят назад я читал в “Спорте”, — был у Хосе Капабланки оппонент

Фрэнк Маршалл. Не из самых главных, знаете, но с амбицией, как говорят. Он применил в старом-престаром дебюте новинку, связанную с материальной жертвой — за хорошие виды на мощную атаку. Он долго вынашивал план отмщения за многочисленные обиды, и специально для Капабланки, зная, что тот не очень-то балует вниманием “госпожу теорию”.

— Понятно — это про меня. Ну, и что же Хосе Рауль?

— Кубинец запросто разобрался в хитромудрых замыслах противника, а партия с тех пор стала хрестоматийной.

— Отбил охоту покушаться?

— Не тут-то было. Несмотря на фиаско, у американца появилось много последователей. Кто из нас не пытался ухватить ту самую птицу хотя бы за хвост да выдернуть перо авторитета. Так что в этом смысле — все мы дети американца по фамилии Маршалл.

— У нас же ничья. Все-таки я не Капабланка.

— Да и я, пожалуй, не Маршалл.

...Итак, завтра последний день.

Сегодняшний день — еще Ольге, завтрашний — волкам, собранию. А ночь между днями — моя.

Наконец добрался до дому, выловил в куче гаражного хлама острогу, направил зубья напильником, глубже насадил черенок, застопорил его гвоздем.

На протоку. Июнь, начало. Сом у берега, в зарослях осоки дуреет.

При появлении Павла Алексеевича на берегу протоки браконьерский актив сразу было дернул врассыпную — те, кто помельче, взрослые же поприветствовали, точно оценив ситуацию, и продолжили свое дело.

Спарился с дедом — соседом по лестничной площадке: “Паша, если че — я тута по бережку, а ты в броднях...”

Пропустить такой день не можно. Их всего-то два—три, а потом только через год, и то не всегда.

Медленно двигаясь в воде вдоль берега, Павел высвечивает ФАСом воду до дна, бьет острогой и, выйдя на берег, подошвой сапога сдирает рыбу с остроги. А то выбрасывает сомов на берег, и уже дед, чертыхаясь, собирает сопливые экземпляры — каждый чернее ночи, — матерясь где-то за кустами тальника.

Павел несколько раз оступался, падал, пробил сапог, набрал его полный и только тогда успокоился.

В четыре закончили.

Поделили с дедом поровну, тот благодарил всю дорогу, пока добирались домой, так что Павел впервые пожалел о соседстве.

Дома вывалил содержимое рюкзака в ванну: “Пусть дура поорет утром”, — завел будильник на полвосьмого, упал в чем пришел и забылся у порога — ноги в нише, голова на кресельной подушке.

Ольга сделала побудку в шесть отборным матом. Такой злой Павел Алексеевич ее еще не видел. Это было...

Веки не разлипались — чертовски устал, поэтому отвечивал, нет, вещал, с закрытыми глазами:

— Из дерьма, говорите, Ольга Борисовна, никогда не вылезем? Старуха, теперь я знаю, что мы с тобой живем в Дерьмовке, это... где-то между

Содомом и Гоморрой такое... сельцо, вся погань собралась. Боженька всех нас накажет. Но, так как я невезун, вроде твоих е...рэй, что были до меня, то есть я — не Лот, — сторим вместе. Что меня и устраивает, и успокаивает — сдохнем вместе.

Ольгу, похоже, тоже устроил развернутый ответ мужа — затихла, как мышка. Большая такая мышка. Поэтому сто раз прав современный поэт: "Все равно, что от курицы ждать селезня... Так однажды решить, будто бы разбираешься в женском характере..." Или что-то в этом роде.

Делать нечего, вставать надо... Покачиваясь — отходняк после ночных борений нескорый — пробрался в ванную, открыл кран, сунул указательные пальцы под струю и, наконец, разлепил веки. Понял, отчего орала Ольга.

Битые, иногда дважды—трижды, сомы с саднящими багровыми ранами ползают в слизи и крови по ванне, пытаюсь выбраться.

Павел на минуту оцепенел...

Шок прошел, но затем что-то в нем сломалось, переключилось помимо воли, замкнулось где-то глубоко—глубоко внутри: там, где человек еще и не бывал ни со скальпелем, ни другим медицинским инструментом или средством.

Павла вывернуло. Так отчаянно его еще не рвало. Туда же — в ванну. Отравился человек. ОТРАВИЛСЯ.

II. ВМЕСТЕ С ЖМУРИКАМИ

Голос его — небольшого диапазона, однако удивительно светлого тембра, без часто встречающейся у людей такого питейного разряда надтрещинки или даже металла.

Необыкновенно хорош бывает и в танце. Часто, когда удача в жизни, как расхоже говорится, катит, — он умеет показаться и тут. Поэтому, когда он солирует в совхозном хоре, а затем, против всяких там хормейстера планов, пускается выплясывать, — у внимающих действию сложнейшая гамма настроений: от гомерического смеха до чистейшей слезы. Больно жалисто выводит чертяка. Талантище. И, если пить за оба таланта-бриллианта в сто сот каратов, то дай бог не захлебнуться. Дитя экспромта, конструктор того, что называют придуманным праздником, организованной удачей...

В минуту такой ладно организованной эйфории его песни — это его песни, его танцы — его танцы, и уж если этот танец — лезгинка, то обязательно вдохновенно и на пуантах. Потрясающий человек!

Разумеется, не лишен простого, узнаваемого, понятного — общечеловеческого. Что говорить, все под богом, всех нас питает мысль бога; одним теплом и заботой оберегаемы, пусть и общего в нас — хромосомный набор да блажь, что, впрочем, по-разному — как привыкнется, как сложится. Тут даже объем варьирует по-единично, хотя в большой разброс не верится.

В жизни все на чуть-чуть, если верить местному литературному классику. Ныне, правда, беглому... Однако отмечен даже и тут — в устремленности и способности достичь желаемого, в способности устоять перед крайним адептом — и следом... поверить ребенку, в умении не обидеться на очевидную издевку — и крайней полярности и непосредственности в своих суждениях, в детской на-

ивности порою — и часто практичности необыкновенной.

Потрясающий человек.

Замечателен даже и своим сплошь и рядом не красным словом, своим и не без особенки. В пространным монологе замечен не был. Мы все устали от длинных речей и какой-то экспансивной доказательности и логичности современных ораторов.

Хорош в труде — не этим ли сегодня мерить человека раньше прочего? Труд его — труд свободного человека, творца до самоотречения.

Так явись же, человек, способный хоть отчасти передать, пусть грубым мазком, образ человека, который...

Потрясающий человек!

Трясти от него, от Жмурика, начинает примерно с третьего часа близкого знакомства: быстро сыплется, как несвежая роза, первое впечатление. Для тех, кто способен, — остается лишь философствовать по поводу обманчивости первого впечатления.

Жмурик.

...В проволочную петлю, которых вдоль забора с десятков, угодила справная, большая, зубастая, неистово гавкающая с сатанински отчаянной злостью собачка. Опять сработало!

Покуда Жмурик выплясывал восторженно на пуантах около, пытаюсь кончить Полканку вилами, Гриша степенно сходил в дом, вернулся с инструментом и тукнул животину дважды обушком. Не промахнулся. Потом залил кровью снег у порога, ловко и довольно быстро освобождая тушу от шкуры:

— Будет Жмурику теплый намордник — хайло прикрывать, когда на морозе песняка давит.

Все сделал, может быть, только чуть-чуть медленнее, чем сам резюмировал свершившееся:

— Мы встретились, как три рубля на водку, и разошлись, как водка на троих.

Жмурик почти не обиделся, однако счел необходимым как-то отреагировать:

— Не стану жрать вашего Полканку. Хватит уже кидать в брюхо чего попало, совсем осатанели...

Предложил свой вариант — подледную рыбалку.

Капитана Воронина, как старшего по званию и вечно крайнего, оставили готовить харч, а сами идем к озеру через поле — на ключи. Бредем через поле, кувыркаемся в ранних февральских сумерках меж черных кочек, Жмурик и Гриша много благодарят друг друга. Один — за то, что не отказал генератор идей, другой — за опрометчиво включенный блок реализации. Единственный фонарь не включаем — бережем батареи, еще пригодятся. Жмурик говорит, что так умели "беречь добро" разве что его предки, ходившие "у Благовещенск с сапогами в положении "на плечо", впрочем, хоть как-то они все же боролись со вшивостью.

Неудивительно, что против обычного Жмурик много вопросов не задает, даже когда, наконец, выгребли по снегу к озеру. Жмурик прекрасно знает, кто должен все решить, поэтому задавать вопросы — значит напрашиваться на дополнительную работу. Это уже потом, когда Гриша охренеет от теперь еще только предстоящей адовой работы, тогда он задаст вопросик из запасника, где

сплошь сакраментальные. Но — позже, в паузе, чтобы это было сродни удару плети вдоль спины. Долгов не прощает.

И потом, Гриша дело знает. Едва добрались, а он уже тычет пешней:

— Павлик, под кочкой, Жмурик — тут, я — рядом.

Коротенький, эмоциональный всплеск Жмурика, который, впрочем, сопровождает любое начало любого дела:

— Не-е, тута отродясь ключей не было, совсем Гриха мозги пропил, ниче не помнит...

Это — как преамбула к работе, как молитва. Но вот он уже крушит лед рядом с Григорием, который охлаждает лед пешней так, как живет — ледяная крошка во все стороны. Ищет родник. Ходит, примеряется, вновь рубит ледовый панцирь — в месте, где подо льдом ключ, — там звуковая отдача характерна по тону.

И здесь все на чуть-чуть.

Уже и шапка долой, и фуфайка, и дежурный, обязательный плотницкий ватный противорадикулитовый пояс... Но после довольно продолжительных поисков, неуспеха, когда находили “пустые” родники или мутные, так что и близкого дна не видно, — наконец попали... здорово попали. От предчувствия крупной удачи Григорий даже замурлыкал чего-то из любимого Магомаева: “Быть судьбой тебе не судьба, все растаяло, как во сне...” — но поправил ситуацию: не дай бог хорошее настроение передастся партнерам, по-трезвому не дай бог поделиться... Сделал даже выговор: мол, если б Жмурик под ногами не путался — с полвоза уже выбросили бы. А впрочем, ночь, мороз, рядом на скотомогильнике тявкают собаки или лисы, — неуют, но не давящий, а скорее располагающий вершить дело быстро. Поэтому не стал Гриша собирать крохи авторитатные или бальзамические, — для души, их он достанет из-под льда. Он уже весь там, и больше нигде.

Пробил отверстие во льду с кулак величиной — в нос ударил затхлый дух ограниченного подледного пространства. Сунул руку в воду по локоть: “чудненько попал — шивеляца”. Обломал лед еще чуть, сделал отверстие настолько больше, чтобы щучьей башке протиснуться, однако и не сверх того: надышится рыба и — поди ее собери потом... Глубже запустил руку и выбросил в четыре приема четыре щуки; пятой, такой же сонной, как и первые, достало сил упереться задней третью в озерный вонючий кисель да в бока соседей и сойти с Гришкиной рогатки из указательного и большого пальцев, запущенных снизу в жаберные щели. Зато следом выбросил змееголова килограмма на три.

— Хорошее соседство — два озерных юда — черт и сатана! Все равно что два Жмурика, такое в природе... как говорят умники, — нонсенс, “не может быть”.

Потом выбрасывал еще, и еще. И еще. Покуда пространство в родниковой нише не разрядилось. Остановиться уже никак не можно — сбрасываются свитер и рубаха:

— Жмурик, разведи, пес, костерок, я щас...

И вот уже сосульки в волосах со стороны ныряющей руки, вот уже нет сил терпеть холод, уже примерзло желание рыбака, заправленное истерикой, — немеют от холода спина и руки, трещит от

статики положения позвоночника — хоть бейся об лед, будто выброшенные эти последние два десятка рыбин, хоть вой. И завыл бы и забился, если б только не Жмурик около, который, забегаю то с одного боку, то с другого, тычет острой в расширенную прорубь, через четыре на пятый делая удачные попытки.

— Жмурик!.. — нет, только злоба. — Де костер, падла?! Скрючился, презер... Бегом за дровами, бе-гом! Шшакал!.. — ненависти у Григория было столько, что, казалось, добавь еще скромненькую к ней единичку — и растает под ним лед.

Гриша кое-как влез в фуфайку, застегнул пару пуговиц — уже на бегу — и, матерясь, понесся по льду вдоль берега. Замыкая километровый круг, чуть оттаявший, пбинтересовался:

— Как там с костерком?..

— Дома водочкой отогреемся, — сообщил Жмурик.

Увы, новенького Гриша для себя тут ничего не открыл.

— Но каков поросенок? — обратился к темноте за кустами Григорий, отправляясь на второй круг. — Прибегу, если не будет костра, чума рыжая, — пригорбачу, похороню, Жмурик, при...

— Я че я? Рази я тебя посылал под лед? — вот и был задан Жмуриком тот самый сакраментальный вопрос.

На ужин — к ушице из щучьих голов, собачьей грудинке и ребрышкам, ну и к водочке — собралось мно-ого друзей, трудно было представить себе что их ТАК много. Но какие люди собрались!..

Однако Жмурик, окинув взглядом укрытый пергаментом стол, который, что называется, ломился от харча, и что-то для себя вычислив, от Жучки в луковом соусе наотрез отказался.

— Ничего, пару стопок жажнет — и куда он денется, — Гриша ничуть не расстроился.

— Просто не хочу вместе с вами однажды захрюкать, людьми надо быть, — обвинил Жмурик общество — вместо пожелания приятного аппетита. Наверное, потому, что общество, хапнув по кружечке, навалилось на...

А впрочем, Жмурик говорил. Говорил, хоть и путанно, и немного, однако до пятого полустакана линию держал. Между третьей и четвертой мисками хлеба из рыбы, слегка чищенной бульбы и соли (Воронов сыпал от плеча), отвалился было. Хотел, правда, перебить оскомину прижаренными ребрышками (“а ну ее — принципиалку!”), да таз с ними уже ушел на другой край стола.

— Ну ты, Жмурик, здоров жрать, четвертую миску охаживаешь, мы вон по одной не закончили, — Гриша не мог не отметить.

Простая душа Жмурик не сразу сориентировался:

— А че там, первые две все одно через край попил — не считается.

Размяк, подобрел обычно молчун капитан Воронин:

— А Жмурик характер удержуить — як сказав, шо псину исть ни будить, так и...

Жмурик налил ковшом пятую миску — обиделся на Воронина, другого, наверное, ждал от него, надеялся, что тот скажет что-нибудь вроде: мол, распробуй, Шура, вместе охотились, и тому подобное. И тогда бы уж он, Жмурик, распробовал...

— Ничего, я и ушицы похлебал от пуза. А ты, Ворона, лучше думай про семью... благодетель выискался.

— А чего семья, деуки у мене страгие, просто так к себе не подпустят. Да и мужики у мене...

— Да-да, их бы всех, вместе с тобой, под пресс — может, один путный и вышел бы. Ладно, скоро я от вас свалю, Гришка женится да к бабе уйдет — закончится твой курорт, отправишься к деткам, снова харя будет в кровавом корже, они тебя распишут... — Жмурик не на шутку рассерчал. — Когда женишься, Гриха?..

— А когда будет тридцать шесть.

— А щас сколько?

— Двух сантиметров не хватает.

За столом. К полуночи тут уже не было ни трусливых мужей, ни хитромудрых любовников, ни солнцеподобных чревоутолятелей — покинули его рабы страха, остались только бойцы и герои. Установился режим общения на электроимпульсах подкормки, почти телепатический — когда каждый понимает каждого, пусть и не все возможно объяснить. Собрание интуитивистов.

Все бы ничего. Но распахнулась дверь, и ввалилось то, что Жмурик называет обычно “откудани-возьмись”. Даже известный своею широтой души Григорий обиделся. Но лишь чуть-чуть.

— Насилье рвется в хату... Кто таков? Сам пришел?.. А мы хотели в лаптю наср... и за тобой послать.

Однако налил:

— Хапни, может, осознаешь ошибку. Сам-то переселенец или чего?..

Не вступился за вошедшего и Жмурик:

— Гришуха, а я всю прошлую ночь почту носил — из-за вашего горохового супа, так и подумал — сегодня чего-нибудь стрясется. Кишка-то у меня, сам знаешь...

— Из Черновицкой мы области. Хотим к вам у бригаду испроситься, — наконец заговорил вошедший.

— А зачем говоришь — мы? Там в сенях еще один, что ли, прячется? Сбегай, Жмурик, а то эти переселенцы сопрут жратву...

— Во, я и говорю — чего-то стрясется. Не-е, хлопец, гроши, они на четверых лучше делятся, чем на пять, — решил Жмурик.

Тут практики. Давно усвоили истину, что человека с обезьяной разнит способность смеяться. И гогочут от души.

Гриша:

— А без нас никак?

— Та не-е, у вас и гроши хороши, да и мужики, говорят, не больно ушлы, я сам, — робить так робить... У совхоз встрялися, у лэкарки побував.

— Хату дали?

— Та дали. Пол разошовся.

— Сойдетса.

— Яблочок в вас нэма.

— Яблочки там, откуда приехал. Не нравится — чеши в переселенотдел.

— Не, Гриш, не берем — больно кучерявый. На свет винтом шел, эти — непредсказуемые. Беги, мужик, беги... У тебя вон и кадык, что челнок, не угонишься за тобой. — Жмурик против пополнения.

Решил, как всегда, Григорий. Постановили дать парню подкормиться... если выдержит не-

дельную пьянку. “У нас, баран кучерявый (будто есть бараны, которых причесывают на пробор), неделю хуржун — по-нанайски война — после получки, неделю — после аванса. Аванс получили вчера, так что только начали — поспел вовремя, правильно про вас говорят... Когда робить? А месяц состоит из сколько-недель?”

— Об одном прошу, — Гриша почти умоляет, — не опорожняйся в валенки. Все стерплю, но, когда кинешь на каменок свои обутики, а от них понесет мочой... У меня, мужик, голова от этого дюже болит. Вот тут вот, и тут, — Гриша указал места и изобразил, как это у него бывает. — Я потом день пахать не смогу. Постарайся, а?

Ну вот, кажется, по главным вопросам проинструктировали. В любой обстановке новому человеку непросто уследить за ходом мысли, как говорится, по первоснегу. Будь новичок поискушенной, многое смог бы прочесть в глазах заговорщиков, еще было время посчитать без суеты и бесплатно для здоровья. Если бы. А так вожденная мечта о скорых грошах, а значит и более близкая цель — отъезд домой при грошах, — мостиком упала на целину справа и целину слева — соединила неопыт с незнанием. Но все придет. Может быть.

А Гриша наливает, приговаривая любимое: читай, мол, паря, подстрочник:

Водка холодная пьется приятно,
И веселит она душу твою.
Но, если водка мешает работе...
Брось ее на хрен... работу свою.

Новичок уже не интересен.

Жмурик завел песню собственного сочинения на мотив “Забудь обратную дорогу”. В ней искра памяти зажигает костер сердечной боли и сострадания к рыжей дворняге, что осталась маяться привязанная — в соседнем селе на попечении жены и детей, которые, конечно же... “За глазами какой там уход за животинкой, а сюда не привезешь, тут — варвары”.

О минутах единения душ.

Собачонка удивительным образом чуует расположенность к ней хозяина, поэтому ее ожидание едва ли менее томительно и, если удастся Жмурке освободиться от цепи да запастись на скотомогильнике рогами и копытами... Жмуркин жест любви не менее очевиден, чем жест чувства хозяина — уж кому-то всегда удастся прихватить с птичника куренка ли, куриные потроха, головы или ноги. Обычно встреча наполнена проявлениями любви и утехой в ласках, ее внутреннее содержание едва ли объяснимо, однако стержень в том, что оба изгои. Ведь спроси любого человека, отчего полюбил, толком и не ответит: просто люблю и все. А то еще спросит: зачем изгаляешься?

Эх, Жмурка, миленький мой Жмурка,
Зачем тебя я погубил?
Сосед мой Пашка говорил,
Чтоб на прививку не водил.
А я-то Пашку не понял,
И ты пол-уха потерял.
Эх, Жмурка, миленький мой Жмурка...

Такая вот незатейливая песня. Скорее даже не песня — гимн, что ли. В пору глубокого похмельного синдрома приобретает зна-

чение медитационного элемента — успокаивает, помогает настроиться на работу.

В два часа ночи — за разговорами время ушло — обнаружили, что исчез Жмурик, ближе к трем попадали на нары. Перед тем, правда, капитан Воронин нечеловеческим усилием воли заставил себя собрать остатки из кружек в стеклянную посудину, которую спрятал в рукав фуфайки. После чего, уже без малого в обморочном состоянии, пометался-пометался по комнате... Устроился в углу и облил его. Главное — не в валенки, вот уж не дай бог... Затем, уже сбитым внезапным порывом ветра планером, уронил тело на нары и забылся.

Сказать, что лицо его в ту минуту выражало полное удовлетворение или, может быть, печать греха, — нет, ни первое, ни второе. Если одним словом, то ближе будет — отмучился-а-а-а. Не исключено, это слово — вообще слово последнего вздоха. Тогда насколько же оно бывает отретпетированно?!

Гриша — главхолостяк округи — напротив: брови сдвинуты к переносице, закисли углы рта и глаз, чего-то там булькотит себе под нос — разное обещает... и много-много.

Жмурик сбежал туда, куда теперь уже не смог бы дойти Григорий. Впрочем, ноль-два за вечер — обычный результат в их с Жмуриком играх (уже десять лет), и поскрипишь тут, и поворочаешься, и побулькотишь.

Те, кто знают их с Жмуриком давно, обычно при встрече удивляются:

— Так вы, Гриша, все вместе работаете? За столько лет совместной работы тебе пора бы уже и Героя Советского Союза присвоить!..

— Не-е, пока только орден Дружбы Народов дали, да Жмурик его пропил, — отшучивается Гриша.

К восьми проснулись. Это подсознательно, это на острие копья интуиции, это как закон самосохранения.

Григорий проснулся — уловил ухом еще неясной природы хлюпанье, чавканье.

Капитан Воронин проснулся “ущипнуть пробочку”.

Не удалось. Жмурик к этой минуте уже выплеснул в себя содержимое баночки, которую аккуратно прикрыл гибкой крышкой, забросал питье сверху остатками от собачки, и прилег на свои нары у печи поковыряться спичкой в зубах.

Что тут скажешь? День начался. Ну, разрядил по Жмурику обойму с уже привычными для уха — попробуй сыщи поутру да с похмелья чего-то новенького в анналах... Да Воронин подсевшим голосом любопытствовал: “Расскажи хоть, сколько?”

— Да знаешь, как сказать... Почитай, что один раз, да и то все равно, что изнасиловал. До-олго измывалась, все надеялась, что Гриня придет. Пять раз перед тем сгорел синим огнем. Кое-как — уже под утро... А потом говорит: “Я еще-о-хочу”. Зараза! Пришлось раздеваться.

— Дак ты одетым, что ли, справлял дело? — недоумевают Воронин.

— Все! Баста! — вмиг расвирепевший Григорий вскочил на ноги. — Большой сбор, подъем флага и флагов расцветивания — пять секунд на горшок и марш на стену! Нажрался, Жмурик, щас

сделаю твоей кишке разгрузку... покуда пульс не перестанет биться.

Шевельнули костер, что греет воду для раствора, сделали первый замес — нервно, быстро — с надрывом. И это утром... после ночи.

Денек обещает быть. Трое на стене, включая Жмурика и бригадира, двое на подхвате. Григорий до обеда не разогнулся, рассчитывая загнать, упакать, пригорбатить или еще что-то там...

Вот уже “в мыле” капитан Воронин — подсобник Григория. Другой — Жмурика — крутится, кажется, без устали, как и сам прогонистый, поджаристый Жмурик, который мурлычет себе под нос свое... Порою заливается погромче, уверенный в своем голосе, будто Пласидо Доминго:

— “Ах, Жмурка, миленький мой Жмурка...” — громко-громко.

— Все равно упарю гада, — Гриша, не вслух.

— “Сосе-эд мой Пашка говорил...” — еще громче.

— Захлебнешься ты когда-нибудь моей кровушкой... — Гриша про себя, не глядя в сторону Жмурика.

— “А я-то Пашку не понял, и ты пол-уха потерял...”

Время к обеду, однако Жмурик в одной поре. Вот уже и у бригадира дыхание сбивается, тяжело дышит капитан Воронин, пал градус оптимизма, и не так сильно желание “большой копейки” у новенького.

Нет, ровно. Как шли по раствору ведро в ведро, так и идут. За работой минуло время обеда... ужина. В стену нового корпуса птицефермы осталось положить всего два ряда, но... Воронин уже постанывает в голос, а напарника Жмурика давно уже не слышно — затих во внутреннем желании дотерпеть...

“Дожду хлыста позорного, пусть хоть мученической смертью падут и все эти...” — держится Гриша. И жмет. Два ряда. Ряд остался, когда рухнул с подмостьев “кучерявый”. Свалился на зубастую кучу половняка и завыл отчаянно.

Еще не понятно, отчего же грустинка-то ударила его в нос и погнала сопли, отчего погнала слезу...

“Падал неправильно, безвольно падал, — решил для себя бригадир (это как приговор: “ваш сын погиб, нарушив устав корабельной службы”... — хочешь, жалея, а хочешь, упрекай). — Чего скулить-то так?..” А вслух проговорил довольно твердо:

— Будя сопли жувать, полряда осталось... грязи давай, грязи! Понаехало тут Матрениных детей: ни шить, ни стирать, а как на бабу залезть — руки золотые.

Однако “кучерявый” подпрыгнул, будто гоголевский бесенок, ослабился, точно сумасшедший, явив ряд мелких зубов, и заорал:

— Я у гробе бачив за вами тута подыхать... ма-етэсь друг поперед друга, а мы мэчимось пидля!..

Прекрасный повод разогнуться, передохнуть. Жмурик наконец выпрямился:

— Тихо, бригадир, не перебивай — немой говорить будет. С трех часов уже молчит, падла, — наверное, думает, нам с тобой опохмелка не нужна. Во, эгоисты пошли молодые... Помолчи, хол, выискался тут герой жатвы!

— Бачь, Гриша, як вин вывалюе раствор. Усе мимо стены! — на нет изошел парень.

К десяти были уже “на базаре”. Порубили пяток рыбин, печку раскочегарили, поставили ужин... то есть, конечно, завтрак. Гриша с Жмуриком долго препирались, решая, кому идти за пойлом. “Сходи, сходи, Гришань, мне все одно не даст: с прошлого раза полсотни недонес, да и очередь вахтить у нее нынче твоя...” Сдался Григорий, в сердцах жахнул канистрой о дверь, и скрылся в темноте.

Итог дня: ноль — два. По существу — нормально.

Многое, очень многое изменилось в эти полчаса. До возвращения бригадира съехал Жмурик: вызвали домой — залегла в больницу супруга. Уехал на попутке.

Следом и “кучерявого” забрала жена: “Спорите мне мужука, про вас тут всяко говорят”.

Зато Гриша вернулся очень довольный — принес на пятерых. Пили “утрех” (а вернее — вчетвером: три члена бригады и... Тоска). Потом втроем, ОНА отвалила передохнуть до утра.

Пили так, что к семи даже капитана Воронина, легендарного молчуна, прорвало:

— Однако и я, Гриша, вывершую нашу апопею, вже и желудок не выдержуить, да и баба материт — дома не буваю почитай что, а в мэнэ и девки, и мужики в мэнэ...

— Да-да, понимаю — страги-ие, — все понял Григорий. — Вы помоложей будете, може ще у бригаду сберется...

Вместе отогнали трактор на машинный двор, сдали инструмент. Определенно повеселевший от предстоящей перемены жизни капитан Воронин даже блеснул юмором (вот уж чего от Воронина не ждали), когда ехали сдавать трактор:

— Девки, осторожней, трактор не топчеть, трактор давить!

Зашлись в хохоте, когда те ответили:

— Как вы топчете, так уж лучше бы задавил.

В полдня рассчитавшись, Гриша снова пил, оставалось еще много, очень много.

Напоследок в хату заглянул Воронин — подобрать вещички. Выпили и еще выпили. Уже пала голова Григория в миску с похлебкой, однако на вопрос Воронина отвечает утвердительно. Пьет.

Как-то еще вырливающий Воронин на очередное Гришкино “начисляй” сует тому стакан с водой — Гриша опрокидывает его в себя, уже не замечая подмены.

Была заминка, когда бригадир попытался подняться, дойти уж не в сортир, хоть в коридор, однако не сумел. От двери трудно возвращался к нарам, оставляя на полу мокрые следы.

Наутро, подсобрав кое-каких харчей — мороженой рыбы, что осталось от Жучки, — и остаток из канистры, — отправился в соседнюю деревню проведать Жмурика и, может, уговорить того вернуться. Все-таки три одиночества — это без малого два человека — считай, полбригады.

— Скажи ему, Павел, что наливать ему станем по рубчик... а то и с бугром. Без него, дурогона, и работа, и копейка не в радость...

Отправились вместе. Тягостную картину лицезрели. Оттого, быть может, что сами были в кризе: хата не топлена, детишки, позакутавшись кто во что, сидят на диване, включен цветной роскошный телевизор — для контраста в этом эпизоде нет, наверное, лучшей детали, — и только рыжие батины глаза чуть “навылупку” да брови его же — наружу. Жмурка, освобожденный отцом-благодетелем, тут же. Хвостом виляет, то облизывая маленькую, то умастившись у ног старшей. Засуетился, когда навстречу гостям из-под пола стал трудно выбираться хозяин: как он там поведет себя, может, прикажет гнать непрошенных?..

Трудно Жмурику, дюже трудно. К утру доняла всегдашняя постпохмельная лихорадка, подсобрал в квартире что смог, вылил в себя — в харю проклятому червю, страдал до рассвета, однако холод донял еще больше, поэтому, укутавшись в одеяла, спустился в подпол — там все же теплее, да и к центру Земли ближе, а равновесие держать надо, надо держать равновесие.

Глянул на гостей — видок не лучше, посмотрел на детей... и взвизгнул, на фальцет сорвавшись:

— Чего скалитесь, сучьи дети? Отец закоченел, а они скалятся...

Гриша выручил.

Но... “Мало водки, мало. И закуски тоже очень мало”. Друга Григорий выручил, а самому до полного счастья нужно много, очень много. Искал и находил. И пил, пил, пил.

В один из дней второй недели объявленного “хуржуна” Гриша закончился.

Лежал на нарах лицом к потолку: “Как много белого — зима, что ли?..” Впервые то, что безотказно шло в него “с севера на юг”, враз ринулось в обратном направлении. На бок повернуться было никак не можно, а подсобить уже некому...

Помалу оставили тело моторные силы и тепло, зрение и слух, испарились последние крохи истерзанной, невидимой, без заряда веса субстанции. Последнего было уже так мало — совсем чуть-чуть... Оно оттолкнулось слабо-слабо — и медленно, словно невидимый дым, стало подниматься выше и выше. Истаяло в белом морозном солнце...